

ТАТЬЯНА ИЛЬИНСКАЯ

ЛЕСКОВСКИЕ ОБРАЗЫ У РЕЛИГИОЗНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Одно из примечательных явлений, связанных с жизнью лесковских текстов в сфере современной культуры, - это использование лесковских образов крупнейшими религиозными мыслителями современности – митрополитом Антонием Сурожским¹ и Александром Шмеманом. И тот, и другой начали оказывать заметное воздействие на российскую действительность еще в брежневские годы, когда их слово доходило до отечественного читателя благодаря самиздату.

Появление имени Лескова на страницах их книг прежде всего заставляет задуматься о роли писателя в жизни русской эмиграции.

Судьбы Александра Шмемана и митрополита Антония Сурожского весьма типичны для эмигрантов «первой волны» и имеют множество точек соприкосновения. Оба родились в культурных русских семьях, эмигрировавших после революции; отроческие и юношеские годы обоих прошли в Париже.

Принадлежа к поколению «детей эмиграции», они по-разному соприкасались с русской культурой. Становление митрополита Антония (в детстве и юношестве – Андрея Блума) происходило в менее поддерживающей среде, чем у Александра Шмемана, с ранних лет живущего в довольно благополучном русском мире. Будущий митрополит Антоний, семья которого была на грани нищеты, учился в интернате в одном из самых «трущобных» уголков Парижа, где ему, как чужаку, пришлось испытать немало горьких минут. Правда дома (в спокойные периоды жизни) мальчику много читали по-русски, а потом он сам полюбил читать.

Александр Шмеман, напротив, получил «закрытое русское воспитание». И в русском кадетском корпусе в Версале, и в русской гимназии он изучал отечественную словесность, а затем, во время учебы в Православном Богословском

¹ Митрополит Антоний (в миру Андрей Борисович Блум; 1914 - 2003) — философ, проповедник; митрополит Сурожский епархии Русской православной церкви в Великобритании. Шмеман Александр Дмитриевич (1921 — 1983) — священнослужитель Православной церкви в Америке; богослов, автор очерков о русских писателях XX века.

институте, да и после этого, много общался с людьми, любившими и глубоко знавшими классическую русскую литературу.

Знаменательно влияние на личностное становление обоих деятелей православия отца Сергия Булгакова, автора множества религиозно-философских очерков о русских писателях. Стоит подчеркнуть, что С.Н.Булгаков был земляком Н.С.Лескова и в юности учился в Орловской духовной семинарии, которую он покинул в 1888 году, что очень напоминало разрыв с собственным духовным сословием отца Н.С.Лескова.

Конечно, и Александр Шмеман, и митрополит Антоний не только из уроков и домашнего чтения могли почерпнуть впечатления о лесковском мире. В русском довоенном зарубежье Лесков – это писатель, которого не только издавали, но и осмыслили в злободневном ключе. Одно из свидетельств тому – известная статья И.С.Лукаша, опубликованная в парижской эмигрантской газете «Возрождение» (1930), где Лесков предстает совсем не как бытописатель русского духовенства. Средствами публицистики в статье воссоздается «терзающая Виева Россия, которую увидел Лесков», а сам Лесков трактуется как «писатель не своего времени», «писатель будущего» (Лукаш 1992: 135-139).

Обратимся к лесковским аллюзиям у митрополита Антония. Наиболее часто Лесков появляется у него как автор высказывания: «Русь была крещена, но не была просвещена».

Эта фраза может фигурировать у владыки Антония как цитата и писаться в кавычках. Например, к авторитету Лескова он прибегает, чтобы очертить духовное становление одного из своих сотрудников, который вначале был религиозен чисто внешним образом: «Он приехал формально православным, без особой любви к Церкви или к Православию. Знаете, как Лесков сказал: Русь была крещена, но никогда не была просвещена...». Эта же фраза о крещении без просвещения используется владыкой в косвенной конструкции, как передача лесковских слов. Так, митрополит Антоний в лесковских категориях осмысляет массовый атеизм советской эпохи: «...колоссальное отпадение от веры не объясняется ли словами Лескова, который говорил, что Русь была крещена, но никогда не была просвещена?» (Антоний 2003: 81).

Однако этого высказывания, так часто используемого владыкой Антонием, у самого Лескова нет. Но теперь этой фразой, уже написанной в кавычках, буквально пестрят страницы духовной журналистики («Пренебрежение катехизацией было непосредственной причиной того, о чем и в конце XIX века Николай Семенович

Лесков с горечью писал что "Русь была крещена, но не просвещена", - одно из характерных примеров ее современного бытования).

Действительно, Лесков этой фразы не писал и не произносил. В то же время ее широкое распространение в современной публицистике нельзя причислить к ряду явлений мифологизации Лескова, хотя ее роль сопоставима со звучанием приписываемого Достоевскому афоризма: «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя».

Появление в справочных изданиях, причем в статье, посвященной творчеству Лескова, этой заключенной в кавычки фразы, конечно, грубая ошибка. Однако у митрополита Антония эта фраза живет совершенно иначе. Она соответствует глубинной сути лесковского мира и восходит к двум лесковским эпизодам – из «Соборян» (1872) и «На краю света» (1875). В дневнике Савелия Туберозова в записи от 2 марта 1845 года встречаются слова: «христианство еще на Руси не проповедано» и «мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облакаемся» (Лесков 1957: 4,59). В рассказе «На краю света» отец Кириак, не соглашаясь с официальной миссионерской практикой, стоит на том, что необходимо «вперед учить, а потом крестить (Лесков 1957: 5,467). Отстаивая свою позицию, он прибегает к авторитету митрополита Платона (Левшина), передавая его слова: «Владимир поспешил, а греки слукавили, - невежд ненаученных окрестили» (Лесков 1957: 5, 467). (Здесь, кстати говоря, тоже вольная, приблизительная передача слов митрополита Платона). Особенно определенно переключка с «Соборянами» звучит в следующей фразе отца Кириака: «...во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облакаемся» (Лесков 1957: 5, 467). Эта повторяющаяся у Лескова новозаветная реминисценция восходит к словам апостола Павла из послания галатам: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27), которые звучат во время православного обряда крещения. Однако лесковское противопоставление - «крестимся, но не облакаемся» - свидетельствует о том, что для писателя было важно это неотождествление факта крещения и истинного христианства.

Сравним: «Крестимся, но не облакаемся» (Лесков) - «крещена, но не просвещена» (митрополит Антоний). В обеих фразах – одно и то же противопоставление крещения и следования Христу. Конечно же, владыка имеет в виду не светское просвещение как распространение научного знания, а духовное (Матф.16:17).

Таким образом, вольное цитирование, вольный пересказ оборачивается у митрополита Антония не искажением Лескова, а очень точным проникновением в

глубинный смысл лесковских сюжетов (кстати, и сам Лесков обычно цитировал неточно, в большей степени следуя не букве, а духу высказывания).

Еще более глубоким проникновением в Лескова становится у митрополита Антония следующий отрывок, построенный как нагнетение лесковских образов:

«Чего, конечно, не хватает Русской церкви – это образованности рядового верующего в вопросах веры. Еще в XIX веке Лесков писал, что Русь когда-то была крещена, но не была просвещена. И действительно, русский человек знает Бога нутром, душой. Как где-то говорит Лесков, у него “Христос за пазухой”. Но, с другой стороны, ему нужно еще приобрести очень много знания, не какого-то особого, а просто глубинного понимания значения, например, Символа веры, значения Господней молитвы» (Антоний 2003: 73).

В приведенном фрагменте даже на словесном уровне подчеркивается, что мы имеем дело не с точным цитированием текста писателя, а с общим ощущением Лескова: «...как где-то говорит Лесков». Здесь перед нами попытка истолкования с позиций конца XX века двух краеугольных опор лесковского христианского мира: идеи «настоящего христианства» («крестимся, но во Христа не одеваемся») и другой идеи - теплой, сердечной веры («Христос за пазушкой»).

Духовное наследие митрополита Антония содержит в себе опыт проникновения в глубь лесковского образа «Христос за пазушкой». Приведу еще одно высказывание владыки, которое опять же начинается с рассматриваемого «лесковского рефрена»: «...еще Лесков говорил в XIX веке, что Русь была крещена, но никогда не была просвещена. То есть религиозного, духовного образования не было дано, и поэтому опыт, который внутри клубится невыразимо, никогда не был – для широкого народа, я не говорю: для богословов – оформлен так, чтобы он мог, с одной стороны, быть выражен, с другой стороны – быть защищен, и еще – обогащал бы человека в другой области, нежели просто сердце. Максим Исповедник говорил, что богослов тот, у кого сердце – как пламя, а ум – как лед, то есть, кто может холодно, строго думать, но – думать на основании пламенения. И вот это сейчас громадная проблема перед нами» (Антоний 2003: 60).

Что же это за громадная проблема, владыка Антоний поясняет, открывая в том типе теплой веры (по-лесковски «Христос за пазушкой») не только глубоко положительные стороны, но и тревожащие. Так, с одной стороны, «в России Бог, Христос, вся реальность христианства воспринимались как личный духовный опыт, которым люди делились, то есть который был и общий и невыразимо-личный. И в

этом <...> есть большая сила, потому что если бы христианство было только мировоззрением, оно не могло бы охватить любые слои народа, а только лишь привилегированный, интеллектуальный или эстетический класс; а здесь это глубокий личный опыт»; «русское христианство с самого начала было благочестием, то есть способностью поклоняться Богу, Который воспринят нутром <...> в целом русское православие – это православие молитвы, в которых сочетаются разные стихии»; «красота, величие православного богослужения – это не просто «инсценировка», это выражение народного духа в форме красоты вещей, воспринятых духовно, нутром». Но с другой стороны, митрополит Антоний полагает, что в этом «нутряном» богопознании кроется и опасность обрядоверия, и большой риск пройти «мимо какой-то глубины содержания», избежать «мужественной ответственности».

Интересно созвучие этих идей митрополита Антония и мыслей лесковского героя, отца Кириака («На краю света»), утверждавшего нерасторжимое единство двух сторон веры - и веры, основанной на духовном научении, и веры теплой, сердечной. «У сердца как голубок тепленький зашевелился», «за теплой пазухой» - вот образы этой сокровенной веры в рассказе старого монаха (Лесков 1957: 5, 464-5).

Наряду с таким «приблизительным» следованием Лескову, скорее, приобщением к лесковской стихии, у митрополита Антония встречается и текстуально точный Лесков. Так, сюжет рассказа «Чертогон» владыка воспринимает как символ русского исторического развития: «Россия говорила постоянно о Святой Руси. А вот в какой мере она была свята и в какой – в борении <...> мы можем видеть просто из русской истории: там на редкость сгущены и святость, и ужас. Одна из коротких, ясных, ярких картин того, что бывало, - это рассказ Лескова под названием “Чертогон”, где мы видим человека и верующего, и благочестивого, на которого находит действительно “черт знает что”, именно не в ругательном, а в прямом смысле. И тогда он беснуется и, перебесившись, вдруг возвращается к Богу – и обратно идет к прежнему. Это в общем для русской истории очень характерно, и все время постоянно красной нитью проходит» (Антоний 2003: 57).

Разумеется, при всех этих множественных обращениях к Лескову, владыку Антония интересует в первую очередь не сам писатель, а такие проблемы, как

характер русской религиозности, духовное состояние России, формальная, обрядовая вера.

В то же время примечательно, что для митрополита Антония Лесков – отнюдь не бытописатель церковной и прицерковной среды (как часто трактовали Лескова в XIX веке). Если и привлекает его Лесков как автор «короткой, ясной, яркой картины», то это та картина, которая, по слову владыки, символизирует собой русскую историю.

Таким образом, Лесков в размышлениях митрополита Антония становится не иллюстрацией, а оптикой, позволяющей увидеть скрытый смысл вещей. Поэтому в книгах владыки появляется не цитация, а квинтэссенция Лескова – религиозного мыслителя и – одновременно – художника. К свидетельству Лескова митрополит Антоний постоянно обращается как к восприятию человека, уловившего глубинное течение русской жизни.

Перехожу к Александру Шмеману, для которого было характерно осмысливать религию через литературу и наоборот – в литературе искать ответы на вопросы религиозной жизни. Так, чтение «Чевенгура» вызывает в сознании отца Александра ряд картин и образов, и литературные параллели сменяются евангельскими: «Вчера вечером кончил «Чевенгур». Читал, и все в уме сверлила ахматовская строчка: «еще на западе земное солнце светит...». А тут — погружение в мир, весь сотканный, в сущности, из какой-то бездонной глубины невежества, беспамятства, одержимости неперевавленными мифами. Как будто никогда не было ничего в России кроме дикого поля и бурьяна. Ни истории, ни христианства, никакого логоса. И показано, явлено это потрясающе. И еще приходит в голову: «если свет, который в вас, — тьма...». Все происходит в какой-то зачарованности, душевном оцепенении <...> Удивительный ритм, удивительный язык, удивительная книга» (Шмеман 2007: 10). Сама лексика, с помощью которой идет осмысление «Чевенгура» – зачарованность, невежество, беспамятство, одержимость неперевавленными мифами – вызывает в памяти некоторых лесковских героев, например, «порционного мужика» из рассказа «Импровизаторы».

Лесков для Шмемана – один из авторов, чьи слова и образы стали частью собственного сознания. Ссылок на Лескова у Шмемана немного, однако эти ссылки имеют весьма знаменательный смысл.

Интересно, каким значением наполнена у Шмемана одна из самых знаменитых лесковских фраз, ставшая крылатой - «Жизнь кончилась, и начинается житие». Это фраза записывается Шмеманом, получившим известие о тяжелой неизлечимой болезни матери (Шмеман 2007: 394). С одной стороны, она звучит совершенно по-лесковски, обозначая последнюю часть жизни, примыкающую к смерти. В таком случае «житие» знаменует освобождение от обыденного, от земных, теперь уже суетных стремлений, а также страдания, сопровождающие тяжелую болезнь. Они-то и приближают «обычную» жизнь к подвижнической. С другой же стороны, у Шмемана нет тех лесковских обертонов, когда слово «житие» в устах отца Савелия становится обозначением исповедования своей веры, разрывом с компромиссами.

Таким образом, на языке Лескова идет речь о том моменте, когда подведена неизглядимая черта под «обычной» жизнью, которая теперь теряет земные краски и очертания.

Но главное - отец Александр обращается к Лескову в своих размышлениях о разного рода подменах христианства: «"Церковность" должна была бы освобождать. Но в теперешней ее тональности она не освобождает, а поработает, сужает, обедняет <...> Вместо того, чтобы по-новому принять самого себя и *свою* жизнь, он считает своим долгом натягивать на себя какой-то безличный, закопченный, постным маслом пропахший камзол так называемого "благочестия". Вместо того, чтобы хотя бы знать, что есть радость, свет, смысл, вечность, он становится раздражительным, узким, нетерпимым и очень часто просто злым и уже даже не раскаивается в этом, ибо все это от "церковности". Яков в "Убийстве" Чехова - как все это верно и страшно. "Благочестивому" человеку внушили, что Бог там, где "религия", и потому все, что не "религия", он начинает отбрасывать с презрением и самодовольством, не понимая, что смысл религии только в том, чтобы "все это" наполнить светом, "отнести" к Богу, сделать общением с Богом. В сущности все это любовь лесковских купцов к "громкости в служении"» (Шмеман 2007: 76).

В этих рассуждениях о религиозном высокомерии аллюзия к лесковскому рассказу «Грабеж» служит для уяснения истоков искажений веры. Поэтому художественный смысл рассказа суживается, что, естественно, не является свидетельством того, что Александр Шмеман обеднено воспринимает Лескова (хотя соседство с чеховским Яковом Ивановичем, воплощением уставной религиозности, вызывает в памяти не героев «Грабежа», а набожного вора Марко из «Интересных мужчин»). Но необходимо заметить, что не только у отца Александра, но и у более мягкого, всеприемлющего митрополита Антония в рассматриваемых реминисценциях выветривается лесковский юмор. Если свести «Чертогон» лишь к контрастам одержимости и покаяния, а «Грабеж» - к обрядоверию, пропадет то главное, что составляет индивидуальность Лескова-художника. При этом оба церковных деятеля – люди необычайной душевной широты и большого художественного вкуса. Видимо, такая интерпретация Лескова объясняется тем, что для них затрагиваемая тема – это больная и главная тема жизни.

Еще один пример переосмысления Лескова. Александр Шмеман, размышляя над административной суетой, съедающей живую суть дела, использует образ «мелочи архиерейской жизни». Но звучит этот мотив не по-лесковски:

«Мелочи церковной, мелочи архиерейской, мелочи семинарской жизни, сколько их... Пришел сегодня с лекции и два часа в этих мелочах, телефонах, суете. А когда на минуту выкарабкиваешься из них, нужно писать скрипты. Где тут - "прилежати о души ваши безсмертней..."? (Шмеман 2007: 292).

Используя яркую формулировку Лескова и проецируя ее на смежные по теме области, Шмеман вкладывает в нее иное содержание. Если у Лескова мелочи жизни – драгоценны, ибо они не дают принять существованию шаблонные формы, то у Шмемана «мелочи» понимаются как мелкотравчатость, ничтожество, мелкость. Так что у Шмемана это скорее Лесков, переосмысленный в гоголевско-щедринских тонах (гоголевская «тина мелочей» и щедринские «мелочи жизни»).

Наряду с таким явным использованием конкретного лесковского образа, у отца Александра есть менее явные, «разлитые» по всему тексту, которыми текст «пропитан». Чтобы избежать упрека в излишней субъективности, сошлюсь на восприятие филолога Юлия Анатольевича Халфина, автора работы о Шмемане, который пишет: «При чтении Шмемана мне всегда вспоминается Лесков». «Его

священник Кириак, - продолжает Ю.Халфин сопоставление Лескова и Шмемана, - убежден, что для веры страшнее всего не бесы (враги), а "вражки". Это "скорохватки" и все, кто исполняет служение формально. "Сей род ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом". И "пока в лежащих над Невою каменных свинтусах (сфинксах) живое сердце не встрепенется, до тех пор все будет только для одного вида". (Это говорит герой пьесы "Расточитель"). "Твердокаменная неподвижность" – главный враг и о. Александра. (Даже термины у них похожи)» (Халфин 2009: 10).

Подводя итоги, можно сказать, что духовная проза русского Зарубежья являет собой еще один путь следования к Лескову – через осмысление судеб христианства в современном мире.

Интересно, что духовных мыслителей занимают не лесковские праведники, а тревожащие, болезненные явления в области веры, подмеченные писателем: обрядоверие, религиозное высокомерие, духовная непросвещенность, «маятниковые колебания» между грехом и благочестием (по принципу: «Не согрешишь – не покаешься»).

Множественность параллелей между Лесковым и размышлениями эмиграции о первоистоках отечественной трагедии, которая уходит в глубины времен, свидетельствует о том, что и через сто лет эти лесковские образы были не только живой иллюстрацией прошлого, но и символом, и инструментом осмысления настоящего.

Литература

1. Антоний, митрополит Сурожский. О встрече. Клин, 2003.
2. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. Т.4. М., 1957.
3. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. Т.5. М., 1957.
4. Лукаш И.С. Лесков // Человек. 1992. No 2. С.135-139.
5. Халфин Ю. А. Радость жизненного подвига // Русский журнал. 2009. 15 мая.
6. Шмеман А., прот. Дневники. 1973-1983. М., 2007.